

ГОСТЬ

АЛЕКСАНДР ДИМИДОВ

Димидов Александр Владимирович (1972 г.р., г.Черновцы, Украина) – магистр филологии (специализация «Русский язык и литература»), дипломированный переводчик с английского языка. Писатель, публицист. Автор романов «Четыре унции кофе», «Маджента» (диплом «Международное признание» литературного конкурса «Коронация слова-2019»), «Жонглер», «Грошери», книги-эссе «Поправка 3:17». В 2021 году были опубликованы рассказы «Отруби» (журнал «Новый берег», №74, Дания), «Стервы» (журнал «Дружба народов», № 12, Россия), «Портрет мужчины с диском» (журнал «Иные берега», Финляндия. Диплом золотой ступени Международного конкурса короткой прозы «Чемодан Довлатова», аудиоверсия рассказа подготовлена редакцией «Радио Гомель» (Беларусь). Рассказ «Чудиновский пастырь» вошел в лонглист и был отмечен дипломом Международного конкурса современной духовной художественной литературы «Молитва» (2022).

С 2010 года проживает в г.Эймс, штат Айова, США.

РАССКАЗЫ

Пицца с привкусом солнца

Тело шестидесятивосьмилетнего Франсуа Виллена было найдено в доме его покойной жены на Рут де Грюисанн. Полицию вызвал Ламар Сарду, хозяин ресторана, после того, как не смог доставить заказанный ужин. Парадная дверь оказалась не заперта. Сержант трижды окликнул, но так и не получив ответа, шагнул в темноту вестибюля. Его фонарь скользил по затоптанному персидскому ковру, беспорядочно оставленной утвари, стопкам книг, коробкам от пиццы и одежде, сброшенной где попало. Было грязно и пыльно.

Сквозняк, проникающий из неплотно закрытых окон второго этажа, разносил по дому сладковато-приторный запах разлагающейся плоти. Пока еще слабый, хотя вполне различимый. Сержант прошел четыре комнаты, одну за другой, и обнаружил труп сидящим в кресле у окна, в домашнем халате, с ногами закинутыми на шелковую банкетку. Голова его была запрокинута назад. Рот полуоткрыт. Левая рука, безвольно свесившись, касалась паркета. Правая все еще держала лежавшую в паху недопитую бутылку «Джонни Уокера». На полу, рядом с креслом, стоял пустой фужер и открытый фирменный ящик с тем же напитком, все картонные секции которого были заняты пустой посудой.

При беглом осмотре явных признаков насилия обнаружить не удалось. Комиссар Рамо, прибывший в скором времени, подтвердил выводы сержанта. Смерть наступила несколько дней назад. Рамо навскидку предположил сердечный приступ. Покойный, очевидно, жил один. Страдал алкоголизмом. Пил не закусывая, судя по пустому холодильнику с одиноко стоявшей на нижней полке початой банкой оливок. Типичный случай бытовой смерти. После того, как он умер, в дом никто не заходил. Картины – видимо, подлинники, резная мебель, домашняя техника: японский телевизор и дорогая стереосистема, – все на месте. На груди у трупа золотая цепочка с медальоном. Палец левой руки унизан золотым перстнем. Здесь никого не было. Жуткий бардак, среди которого приходилось маневрировать экспертам, был создан при жизни покойника и не свидетельствовал о грабеже. Рамо положил под язык антиникотиновую карамель. Перед тем, как покинуть дом, он напомнил сержанту, что ждет его рапорт к завтрашнему утру.

На следующий день судебный патологоанатом, окруженный группой студентов медицинского колледжа, произвел вскрытие. Вопреки ожиданиям Рамо, сердце покойника оказалось почти в полном порядке. Причиной смерти была не летальная аритмия сама по себе, а паралич дыхательного центра головного мозга. Паралич, вызванный, по-видимому, повышенной дозой этанола. Судмедэксперт отобрал образцы крови и мочи, а уже к вечеру из лаборатории поступили результаты анализов. Содержание алкоголя в крови Виллена превышало 4 г/л. Смертельная концентрация, даже без учета его возраста и букета хронических заболеваний. Официальной причиной смерти, указанной в свидетельстве, стала алкогольная интоксикация. Ни у экспертов, ни у полиции не было причин говорить о чем-то другом.

Примерно через месяц после указанных событий Амбруаз Тафанель, бывший судебный секретарь и «величайшая из заноз в заднице города», как его за глаза окрестил Рамо, обнаружил на лавке в городском парке забытую кем-то книгу. То был французский перевод романа Ирвина Шоу «Богач, бедняк», опубликованный парижским издательством «France loisirs» в 1977 году. Весьма пристойного вида. По штампу на форзаце и инвентарному номеру Тафанель установил, что книга принадлежала фондам городской публичной библиотеки. В противном случае, он отдал бы ее в бюро находок и на том посчитал свою миссию выполненной. Но наличие казенного клейма налагало особые обязательства. Поэтому он прихватил ее с собой и на следующее же утро собирался отнести в библиотеку. Когда – привычно для человека с богатым конторским опытом – чисто механически прогулявшись большим пальцем по книжному блоку, увидел закладку среди страниц. Обычного размера бизнес-визитка. Прямоугольник белой бумаги, строгого стиля с адресом похоронного дома «Терминаль».

Тафанель обладал злым даром внимания к мелочам. Исходя из того, в каком положении находилась картонка, он сделал вывод, что ее оставили не случайно. Любой листок, попавший под руку, может служить закладкой. Обычно он просто лежит между страниц, в произвольном положении, и готов тотчас выпасть, стоит только, придав книге горизонтальное положение обложками вверх, слегка потрясти ее. Так вот, с карточкой похоронного дома такой трюк не прошел бы. Ее загнали глубоко, под самый переплет. Туго зажав, почти симметрично по центру страницы. Бывший секретарь аккуратно изъясил визитку и повертел в пальцах. Никаких пометок, выглядит почти новой. Хотя по едва скошенным углам и отпечатке ногтя под вторым телефонным видно, что ею пользовались. Он не заметил подчеркиваний или надписей на полях книги. Текст романа оставался чист. Тогда ему пришло на ум поинтересоваться, какой именно отрывок решил отметить читатель. Тафанель снял пиджак, вернулся в гостиную, снова напялил на нос очки и принялся читать.

Последняя глава первой части романа, как раз уместившаяся в книжный разворот, повествовала о некоем Акселе, пекаре или хозяине пекарни. Глубокой ночью он спускается в подвал, мурлыча под нос детскую колыбельную на немецком. Аксель прикладывает к бутылке, борясь со сном. На столе перед ним еще одна, последняя порция булок, приготовленных к выпечке. Сейчас он сунет их в печь.

«Оставив противень на столе, – писал Шоу, – он подошел к полке, снял с нее жестянку с угрожающим предупреждением на этикетке – нарисованным черепом и костями крест-накрест. Аксель высыпал из банки немного порошка – с чайную ложку. Подойдя к столу, он из одного рядка сырых булочек наугад поднял одну. Старательно вложил в булочку яд, потом, повертев ее между ладонями, положил на место, на противень. Вот мое последнее послание этому миру, подумал он.

Кошка внимательно наблюдала за ним. Сунув противень в духовку, он подошел к раковине, сняв с себя рубашку, вымыл руки, лицо, тело. Вытерся мешковиной, оделся. Снова сел на свое место перед печью, поднес пустую бутылку к губам.

Он все мурлыкал под нос эту песенку, которую пела мать ему, маленькому мальчику.

Когда булочки испеклись, Аксель вытащил противень из печи. Все булочки были абсолютно одинаковыми. Выключив газ в печи, он надел картуз и пестрое драповое пальто. Поднялся по лестнице, вышел на улицу из пекарни. Кошка пошла за ним следом. Он не стал ее прогонять. На улице было темно, дождь все еще шел. Ветер посвежел, стал холоднее. Он пнул кошку ногой, и она убежала.

Прихрамывая, Аксель отправился к реке. Сел в свою легкую, гоночную лодку, стал грести подальше от берега. Мощным течением его вынесло из нью-йоркской гавани в океан, под высокую волну, где утлый ялик вскорости затонул. Некоторое время спустя лодку увидели плавающей вверх дном. Труп Акселя так и не нашли».¹

Питавший скрытую страсть к детективным сюжетам Тафанель проглотил наживку и в тот день отправился по своим делам без книги. За неделю, читая по вечерам, он одолел все семьсот страниц. Роман разочаровал его. Он не любил откровенной «американщины», где бы она ни попадалась, – в книгах, в фильмах, в еде, в жизни. Тафанелю давно перевалило за семьдесят, и его плечи помнили снисходительные похлопывания союзников-янки под Лионом. Написанная легким языком книга, взамен потраченного на нее времени, принесла единственный плюс.

Буквально на первых ее страницах он выяснил, что немецкий иммигрант Аксель Джордах, хозяин пекарни, уже давно мучился навязчивой идеей отравить ядом одно из своих изделий. Просто «ради смеха... чтобы проучить их». Себя, перепачканного мукой, обреченного каждое утро растапливать «адскую печь», он в душе называл клоуном-неудачником, «у которого нет своего цирка».

Тафанель отнес роман в библиотеку и, пользуясь радушием сотрудницы, растекавшейся в благодарностях, установил, кто мог забыть его в парке. Читателей у книги было всего двое. Первый – студент факультета изящных искусств Рене Богюс, двадцатитрехлетний юноша, записавшийся в библиотеку сразу после поступления. Вторая – известная секретарю Жульен Сарду, жена Ламара Сарду и совладелица местного ресторана-пиццерии «Парадизо». Книга все еще числилась за Богюсом. Утаив найденную визитку, Тафанель настоятельно порекомендовал библиотекарю призвать виновника к самому решительному ответу. Ибо не дело, если к общественной собственности станут относиться с подобным разгильдяйством. Так никаких фондов не напасешься.

За тридцать девять лет работы секретарем городского суда Амбруаз Тафанель повидал немало. Все и любые юридические склоки, возникавшие как у государства с гражданами, так и между самими горожанами, более трети века протекали у него на глазах. Многие судебные заседания проводились в закрытом режиме, где, помимо представителей сторон, присутствовали только пристав, судья и секретарь. Поэтому Тафанель по долгу службы знал о подлинных делах и нравах в городе гораздо больше, чем кто-либо иной. От соседских дрызг и бракоразводных процессов до самых тяжелых уголовных преступлений, память его содержала полное собрание судебных историй в разнообразии всех подробностей. Будь у него литературная жилка, к концу своей карьеры он мог бы разразиться чередой историй, быть может, не менее грандиозной, чем «Человеческая комедия».

Однажды, весьма давно, соседи подали иск на Сарду из-за того, что лабрадор последних, совершив подкоп, пробрался в сад и испугал игравшего там ребенка. Репутация у рестораторов была самая положительная. Оба – и Ламар, и его жена – до суда, на суде и после – утопали в сожалении и извинениях. Они предложили оплатить психологическую помощь ребенку, если таковая понадобится. Ключом к мировому соглашению стало взятое ими обязательство установить новый забор, препятствующий подкопам, купить вольер для собаки и добровольно выплатить компенсацию морального ущерба.

¹ Цит. по Шоу И. Богач, бедняк. Т.1, М: Аст, 2005. Перевод Каневского Л.Д.

О ресторане «Парадизо» снова заговорили несколько месяцев назад, когда Сарду впервые в жизни удалось завоевать кубок «Турнира Десяти». самого престижного состязания пиццерий южной Франции. Пицца, приготовленная шеф-поваром «Парадизо», была признана самой лучшей. К кубку прилагалось включение в ежегодный список ста ресторанов Франции, промоции в туристических каталогах, брошюрах, широкая поддержка медиаресурсов. А самое главное – денежный приз в размере пятидесяти тысячи франков.

Первое, что сделали супруги Сарду после победы, – наняли дизайнера, который путем хитроумных бюджетных преобразований позволил подтянуть интерьер «Парадизо» до легкой претензии класса «гранд». Больше света и зелени. Безупречный потолок с искусственной лепниной. Новая мебель в зале. На кухне поменяли вытяжку и отреставрировали старую дровяную печь, с которой все начиналось почти век назад. Тогда повар по фамилии Буаселье, выкупив здание галантерейного магазина с тем же названием, решил открыть в нем собственную забегаловку. Витрина, выходящая на городскую площадь, посчитал он, – залог успеха в любые времена.

Разумеется, сообщение о смерти Франсуа Виллена не могло ускользнуть от всевидящего ока бывшего секретаря. Привыкший читать местные криминальные хроники он также обратил внимание на то, что в полицию обратился именно Ламар Сарду. Гениальная мысль внезапно пронзила мозг Тафанеля, словно молния. Образ старого Акселя, напевающего немецкую колыбельную, стоя у адской печи с банкой крысиного яда в руках, вдруг получил лицо трудолюбивого и простодушного добряка Ламара.

Нет, его им не провести.

Почему Тафанель не допустил, что визитка похоронного агентства вполне могла принадлежать рассеянному студенту Рене Богюсу, недавно, к примеру, утратившему кого-то из пожилых родственников – не известно. Вместо этого он продолжил убеждать в себя в том, что медицине давно известны яды, которые крайне тяжело обнаружить в теле жертвы, и что некоторые из них – растительного происхождения. Взять хотя бы пресловутые вишневые косточки. Содержимого пятидесяти из них достаточно, чтобы убить взрослого человека, отравив его желудок синильной кислотой.

Если секретарь прав, могла потребоваться эксгумация. Поэтому Тафанель, прекрасно знавший последовательность полицейских процедур, в первую очередь расшвеллил старые знакомства в судебной медицине. Подняв записи, ему сообщили, что тело из городского морга забрали не родственники Виллена, а представители похоронного дома, предъявив оригинал нотариально заверенного договора, заключенного Вилленом еще при жизни. Секретарь спросил, какое именно похоронное агентство увезло труп после вскрытия.

Ответ его не разочаровал.

Затем Тафанель позвонил по одному из номеров на визитке. Тому самому, который был отмечен полукругом, вдавленным ногтевой пластиной. Обычно так делают, когда под рукой не оказалось ручки или карандаша. Он представился дальним родственником, разыскивающим место захоронения Франсуа Виллена. Учтивый голос на другом конце попросил его подождать или перезвонить чуть позже. Тафанель выбрал первое. Похоронный клерк задал ему несколько наводящих вопросов и в конце концов огорошил новостью: тело Виллена было кремировано согласно его последней воле. В связи с отсутствием родственников прах покойного отдали другу, господину Ламару Сарду. Где именно произошло дальнейшее захоронение и произошло ли вообще, сотрудник не знал.

Понимая, что, с одной стороны, кремация почти наверняка уничтожила следы преступления, а с другой, лелея надежду, что урна с прахом подскажет дальнейший путь к истине, Тафанель попросил описать, какую именно из урн выбрал покойный.

Ему ответили даже быстрее, чем он ожидал. Оказалось, в смете услуг, выбранных усопшим, погребальная урна отсутствовала. В подобных случаях прах передается родственникам или их представителям в типовом, герметичном, проклеенном изнутри картонном цилиндре с цветным декором. Хотя друг покойного настоял, чтобы прах господина Виллена пересыпали в привезенный им фарфоровый сосуд.

– Сосуд? – переспросил Тафанель.

– Да, мсье. Белый круглый бочонок. С такой же фарфоровой крышкой и объемным изображением пеликана.

Он поблагодарил и дал отбой.

Что-то во всей этой истории не складывалось. Каким образом залетная столичная птица, внезапно появившаяся в Грюисанне несколько лет назад, по слухам, бывший профессор, смог сойтись с местным поваром, годившимся ему в сыновья, причем подружиться до такой степени, чтобы доверить ему свой прах? В городе нет крематория. Поэтому Сарду пришлось забирать прах из ближайшего муниципалитета, где он есть – из Безье. Конечно, было бы гораздо проще и увлекательнее, если бы деньги у Ламара завелись вследствие смерти Виллена, а не из-за выигрыша в конкурсе пиццерий, причем в то время, пока Виллен был еще жив. Но уж тут – что есть, то есть.

Подвешенная в воздухе интрига несколько недель томила на медленном огне в голове секретаря. Пока однажды, после выпуска новостей, он не переключился на другой канал. Программа была посвящена бизнесу. После очерка о перспективной строительной компании из Марселя начался репортаж о ресторанах. Шикарная брюнетка брала интервью у Ламара Сарду, шеф-повара и совладельца «Парадизо», где готовят лучшую во всей южной Франции пиццу. Ламар в парадном поварском сюртуке и шапочке шефа вкратце рассказал о своем заведении. Показал обновленные интерьеры главного зала. А затем пригласил съемочную группу на кухню. Широким жестом хозяина Сарду указал на свой алтарь – главный стол, где обычно происходит священнодействие. Рецепта приготовления он, конечно же, не открыл. Но среди посуды для специй, выстроенной по периметру стола, Тафанель внезапно заметил массивный белый, судя по всему, фарфоровый бочонок с барельефом.

Он просто ошалел. Идея о том, что повар может подмешивать в пищу человеческие останки, показалась ему сюрреалистичной и одновременно до рвоты противной. А главное – зачем? Неужели пеплу присущ некий особый вкус? Ведь ели же когда-то перетертые в порошок египетские мумии. Как бы то ни было, теперь со всем этим пусть разбирается полиция. Скоротав ночь под лампой за письменным столом, бывший секретарь на рассвете собрал свой восьмистраничный опус, выскоблил подбородок до синевы, одел чистую рубаху и к девяти часам отправился на прием к комиссару Рамо, «человеку кристальной честности и моему старинному другу».

Порой заслуженная пенсия – страшное испытание для деятельного человека. Так подумал Рамо в который раз, выслушав Тафанеля. Впрочем, с избытком свободного времени каждый справляется как может. Одни путешествуют. Другие рыбачат или возделывают сад. Третьи, свихнувшись на почве общественного служения, продолжают портить жизнь окружающим. Комиссар не был другом Тафанелю. Иногда, изнемогая от настойчивости и принципиальности бывшего секретаря, ему хотелось вывезти его за город и там по тихому послать пулю в затылок из табельного оружия, оставив труп в первой же канаве. Но Рамо был католиком. И не желал неприятностей по службе.

Время и так значительно утихомирило Тафанеля. Раньше, сразу по завершении карьеры, он еще долго был полон энергии Савонаролы. Неустанно выискивал людские грехи. Совал свой нос в каждую городскую щель. Его пять раз избивали исподтишка, затолкнув поздним вечером в ближайшую подворотню. Виной тому были анонимки, которые кто-то рассылал в промышленных масштабах. Мужьям сообщали

о неверных женах. Епархии – о священнике-содомите. Финансовой инспекции – о налоговых мошенничествах. Владельцам бизнеса – о недобросовестных работниках и нечистоплотных компаньонах. Тафанель знал все обо всех и, ковыляя после очередной расправы, униженный, но не посрамленный, снова возвращался на пост по защите интересов государства и общественной морали.

– То есть вы полагаете, Сарду отравил Виллена, а теперь скармливает нам его прах?

Тафанель преданно, с искринкой настоящего патриота, посмотрел в глаза Рамо:

– Я рад, господин комиссар, что вы сами сказали это.

У Рамо было не менее десяти вежливых способов отправить бывшего секретаря ко всем чертям. Но он не сделал этого по двум основным соображениям. Во-первых, уже случались истории, когда благодаря избыточной бдительности Тафанеля властям удавалось предупредить серьезное правонарушение, одернуть или задержать преступника. В связи с чем у городского начальства он был на хорошем счету. Во-вторых, Тафанель, как никто другой, знал толк в документообороте, и все его контакты с представителями правоохранительных, как, впрочем, и любых других государственных или муниципальных органов, были обставлены с профессиональной безупречностью. На любой визит у него имелась бумага. Он всегда обращался в письменной форме, сохраняя копии заявлений с канцелярским штампом «Принято», датой и подписью. Тем самым оставляя за собой право заявить потом во всеуслышание: «А я же вам говорил». И Рамо помнил людей, которые заплатились своей должностью за игнорирование «сигналов» от Тафанеля.

Возможно, бывший секретарь городского суда уже рисовал в своем воображении караван полицейских машин с мигалками, мчащихся к пиццерии. Однако Рамо, даже не потрудившись перечитать его писанину, сгреб листы в папку и похоронил в нижнем ящике стола. Он не верил Тафанелю. Пожалуй, тот был прав лишь в одном. История и вправду выглядела слишком запутанной. Но это еще не значило, что полиции стоит ею заниматься. В жизни полно нестыковок любого толка. Если бы по каждой из них открывали расследование, штаты пришлось бы увеличить тысячекратно. Домыслы ненормального старика к делу не пришьешь. Да и дела-то не существует. Естественная смерть доказана. Мотивов у Сарду нет. Будь у Тафанеля хоть капелька ума, он бы понял, что температура кремации не оставляет бактериям шансов. Отравить прахом нельзя. Можно испортить аппетит и эстетику люда. Но в тюрьму за такое не сажают. Тем не менее, увиденное в доме на Рут де Грюисанн было все еще свежо в памяти Рамо. И он решил приглядеться к фигуре его бывшего владельца, пусть и с опозданием.

Франсуа Виллен когда-то преподавал в Сорбонне и прославился благодаря скандалу.

В апреле семьдесят первого журнал «Le Nouvel Observateur» опубликовал составленное Симоной де Бовуар письмо, подписанное тремя сотнями женщин, впоследствии названное «Манифест трехсот сорока трех». Эти французенки требовали декриминализации аборт и одновременно признавались в том, что им приходилось избавляться от зародышей в частном порядке. Реакция французского общества оказалась неоднозначной. «Charlie Hebdo», к примеру, разразился серией едких карикатур, в которых подписанток открыто называли шлюхами.

В ответ Симона де Бовуар, подруга Сартра, предложила провести открытые телевизионные дебаты. Ее оппонентом стал коллега Виллена, Клод Жирак, доктор философии, чьей специализацией была гендерная политика. Он вполне удачно парировал выпады феминистки. Но перед вторыми дебатами Жирак слег с острой пневмонией. Администрация канала попросила Виллена подменить его, и тот нехотя согласился. Прирожденного остряка, призванного смеяться над женской блажью, сме-

нил вдумчивый, ироничный Виллен, который женщинам принципиально симпатизировал.

Франсуа относил себя к ученым, для которых так называемая «биологическая трагедия женщины», обреченность жертвовать своим личностным ростом во имя репродукции, не была пустым звуком. И он смотрел гораздо дальше, чем Бовуар. Он хотел, чтобы мужчины наконец взяли на себя часть ответственности за нежелательную беременность. Чтобы они попытались понять сакральность неповторимой женской природы. Отмена наказания за аборт, по Виллену, должна была бы стать лишь первым шагом на пути к переосмыслению роли женщины во французском обществе.

– Вы пытаетесь играть в навязанные вам мужские игры вместо того, чтобы осознать свою феноменальность и тем самым обрести собственный путь. Вы копируете паттерны там, где следует полагаться на вашу природную интуицию и стремление к справедливости.

Бовуар, истолковав его позицию как слабину, взвинтила тон. Посыпалась очередная порция банальностей, рассчитанных на женскую аудиторию. Об ущемленных правах, общественной несправедливости, рабском положении женщин. Ведь даже в исторической галерее образов бунтарей женщины могут полагаться разве что на сгоревшую еретичку Жанну д'Арк.

Виллен, глядя, как попирают копытами протянутый им бисер, невозмутимо возразил:

– Отнюдь, Симона. Вы в любой момент можете снискать славу Робин Гуда. Просто берите у богатых. И давайте бедным.

Зал взорвался оглушительным хохотом. Бовуар покраснела и демонстративно покинула студию.

Виллен, сам того не желая, на следующее же утро проснулся знаменитым, но у этой известности была своя цена. Через неделю после эфира какая-то пьяная феминистка подкараулила его на выходе из университета и, бросившись наперерез, расцарапала ему лицо. Виллен чудом спас глаза. Защищаясь, он инстинктивно оттолкнул ее. Она ударилась затылком о каменную изгородь и потеряла сознание. Сам в крови, он опустился на колени рядом с ней. Попытался нащупать пульс. Это фото – мужчина с залитой кровью щекой, который держит за горло распростертую на земле девушку, – обошло все французские таблоиды.

Многие считали, что Виллена попросту подставили. Девушка вскоре пришла в себя и с большой нотой кийки Сальпетриера, куда ее госпитализировали с легким сотрясением, раздала дюжину интервью. Ученый совет, спасая репутацию факультета, порекомендовал Виллену годовой академический отпуск. Виллен посчитал себя оскорбленным. И хлопнул дверью. Он выбрал пенсию. Той весной у Рени, его супруги, умерла престарелая тетка, оставив ей особняк в Лангедоке. Они почти не колебались. Рени повесила свой косметический салон в девятом округе на старшую сотрудницу. Собрала только необходимое, но при этом нафаршировала багажник стопками научных монографий (Франсуа пообещал ей закончить книгу), которые, как она считала, могут понадобиться. Раздала цветочные вазоны друзьям. И на ее стареньком «Пежо» они отправились через всю страну, из Парижа – в самую задницу мира.

Вопреки ожиданиям Виллена, дом в Грюисанне ничем не напоминал обычные старые шато под терракотовой черепицей с высокими потолками и мезонином. Это было приземистое строение в мавританском стиле. Растрескавшиеся от времени глухие деревянные ставни на окнах. Толстые каменные стены, призванные защищать от жары. Полы первого этажа, выстланные огромными серыми плитами, намекали на замок или собор, так что у Виллена иногда возникало желание поискать крипту. Стены комнат были выкрашены в аляповатые цвета, выцветшие со временем. Имелись натуральные ковры в довольно приличном состоянии и старая резная мебель.

Половину второго этажа занимал огромный балкон, с которого можно было любоваться окрестностями и в тени полосатого навеса разглядывать море, плескавшееся в нескольких километрах на востоке. Очевидно, именно здесь, сидя в старом шезлонге, тетушка Клотильда сочиняла свои нудные дидактические послания не умеющим жить родственникам, полные желчи и упреков, после которых с ней прекратили общаться все, кроме племянницы, а дом в Лангедоке получил негласное прозвище «осиное гнездо».

Ее покойный супруг-фабрикант, умерший слишком рано, оставил по себе солидное состояние. Клотильде еще не было и сорока, когда она – богатая и бездетная – купила дом подальше от городской суеты, дабы ни от кого не зависеть, а жить так, как ей заблагорассудится. Она много путешествовала. Успела объехать весь Ближний Восток и много раз бывала в Африке, о чем свидетельствовали тотемные маски, густо развешанные на стене столовой. Когда Виллены решили вынести старую кровать, они обнаружили спрятанную под матрасом на широких деревянных поперечинах массивную картонную коробку, битком набитую фаллоиммитаторами всех материалов, цветов и размеров.

– Обкладывалась она ими, что ли? – растерянно произнесла Рени.

Франсуа пожал плечами:

– У каждого свои береги.

Несколько месяцев у них ушло на то, чтобы избавиться от ненужного хлама и привести дом в порядок. Они побелили стены, заменили водопровод, обновили двери и окна. Дом прекрасно сохранял ночную прохладу, что позволяло им работать во время сиесты. Они никуда не торопились и все делали в свое удовольствие. По вечерам, когда спадала жара, после заката, садились в бордовый «404» и по серпантину, среди зеленых холмов, спускались к морю. Там, на песчаной косе, между пляжем Маэль и рестораном «Берег москитов», у них было любимое место, скрытое от чужих глаз барханами и зарослями барбариса. Они подолгу купались в ласковой воде. Франсуа разводил костер из прибрежного валежника, иногда они запекали мясо. Если веток не хватало, в растопку шли научные тома, часть которых он оставил в багажнике на всякий случай.

Грюисанн после Сорбонны – жуткое захолустье. Бывший рыбацкий городишко, кладбище прогоревших устричных ферм, он разросся до полутора тысяч жителей только благодаря туризму. Здесь имелось несколько кафе, где путем проб и ошибок чете Виллен удалось отыскать пару недурственных блюд. Одним из таких мест стал «Парадизо», понравившийся Рени своей кухней. Они наслаждались долгими прогулками в старом центре и по набережной, понимая, что рано или поздно вновь затоскуют по тем местам, где прошла их прежняя жизнь. По машинному запаху метро и корице кондитерских, улыбкам друзей, городским пейзажам и ритму столичной жизни.

Повод вернуться в Париж возник даже быстрее, но оказался гораздо менее приятным. У Рени появились странные уплотнения в левой груди. Местный маммолог посоветовал ей, не откладывая, пройти комплексное обследование. Вместе они прилетели в «Шарль де Голль» в конце сентября, а уже в первых числах октября Рени прооперировали. Потом последовали долгих полтора года бесконечных скитаний между ремиссиями и стационаром. Ей назначили химиотерапию, удалили вторую грудь. Вместо светлой косынки, в которой большинство обреченных женщин похожи на изнуренных ткачих, или дурацких чепчиков Рени предпочла носить парик, подобранный под цвет ее натуральных волос. Она старалась держаться молодцом. Попыталась познакомить Франсуа с одной из своих младших подруг, женщиной «надежной и очень хозяйственной». Он смог отшутиться. И стал проводить долгие часы в палате, пока она спала под действием седативных и обезболивающих, надеясь, что, проснувшись, она снова сможет хоть немного с ним поговорить.

Все это время Клод Дюжарден, почтальон, проезжая по казенной надобности мимо особняка, нарочно останавливался и совершал обход, убеждаясь, что дверь заперта, ставни не тронуты, а внутри или на подворье не обосновалась компания езжих хиппи. Раз в месяц он отзванивался Виллену. Голос парижанина казался ему настолько далеким и отстраненным, что с подачи Дюжардена в городе поползли слухи о скорой продаже дома. Такая новость мало кого удивила. Переехать из Парижа на самый юг, в провинциальную дыру? Что за вздор! Надо быть полным идиотом или сумасшедшим художником, чтобы отчаяться на подобную авантюру.

Когда комиссар Рамо почувствовал, что пришло время, он нанес визит в «Парадизо».

Те, кто недолюбливал рестораторов Сарду, называли их между собой «Жюльен с Омаром», не догадываясь при этом, насколько вкусное блюдо они поминают. Ламар встретил его со всем радушием. Рамо по привычке назвал свою должность, но тотчас известил, что пришел в частном порядке. Они не были знакомы лично, хотя пересекались множество раз. Жители небольших городов обречены топтать одну и ту же землю. Кто-то из родни, знакомых или коллег комиссара регулярно праздновал свои дни рождения, помолвки или семейные праздники, заказывая банкет у Сарду. Прекрасная кухня, разумные цены. Туристы приезжают и уезжают. А репутация среди своих созируется десятилетиями.

Комиссар начал с того, что попросил устроить ему «тур в закрома». Позволить взглянуть на кухню, разумеется, если это возможно. Сарду с удовольствием проводил его. Увидев заветный бочонок, Рамо соврал, что точно такой же был у его матери.

– Очень полезная вещь, – с готовностью подхватил Ламар. – В этом (он приподнял крышку стоявшего на столе, показывая содержимое) я храню ржаную муку. А вот здесь (он открыл дверной шкаф, одна из полок которого была уставлена двойниками с профилем пеликана) у нас крупы. Какой-то особый состав глины. Отпугивает жучков, не дает завестись плесени. Жена купила их много лет назад, на распродаже в Сет.

Сарду повел его в глубину дома, попутно показывая горячий цех и кладовые.

Посетителей с утра было немного. Рамо заказал паэлью по-барселонски с апельсиновым соком, чашку кофе без молока. Ламар сам приготовил и доставил заказ. Рамо жестом пригласил его за свой столик:

– Говорят, вы знали покойного Франсуа Виллена?

Сарду встретил ожидающий взгляд комиссара:

– О, да...Я многим ему обязан.

Ламару пришлось рассказать Рамо, как он впервые увидел Виллена с женой, приняв их за туристов. Затем они стали появляться как минимум раз в месяц. Познакомились, разговорились. К ужину они всегда заказывали «Шато Левиль» шестьдесят восьмого года. А потом вдруг пропали.

Примерно через полтора года он снова увидел Франсуа, одиноко сидящим за дальним столиком. Следовало подойти ближе, чтобы понять, как сильно он постарел. К счастью, здешний морской воздух многим идет на пользу. Люди быстро восстанавливаются. Однажды он заказал буйабес, и Ламар прислал ему комплимент – по восьмушке из четырех разных пицц. Виллен даже не притронулся. Ламару пришлось объяснить, что они готовятся к «Турниру Десяти», и им крайне важно мнение человека из столицы.

Виллен никогда не слышал об этом состязании лучших пиццерий. Он слегка поковырял вилкой начинку одного из кусков и невозмутимо заявил, что готов научить Ламара готовить пиццу, которая приведет его к победе. В обмен на скромную услугу с его стороны. Сарду, не привыкший оставаться в долгу, попробовал уточнить, что именно угодно Виллену. Но тот манкировал, сказав, что еще рано об этом говорить, и пусть все идет своим чередом.

Через несколько дней в условленное время Виллен приехал со своим набором продуктов. Прежде всего он попросил убедиться, что дровяная печь не чадит, и прогреть ее как можно жарче. В тесто он добавил немного испанского шафрана, уточнив, что за долгие годы ему пришлось испробовать греческий, кашмирский и иранский шафран, но именно испанский, уступая в цвете, обладает столь насыщенным вкусом. Вся беда европейских пиццерий в том, говорил Виллен, разминая тесто, что они лезут из кожи вон, пытаясь копировать итальянцев. И мы – не исключение. Хотя стоило бы пораскинуть мозгами. Сколько видов сыров в Италии? Около сорока. А сколько их у нас? Более трехсот. Повод задуматься. Но все по-прежнему продолжают присягать моцарелле.

Виллен предпочитал сыр «Эмменталь», в его французской, а не швейцарской разновидности. Он брал копченый спинной бекон, нарезанный тонкими ломтиками, и перед выпеканием в течение семидесяти минут мариновал его в бургундском пинонуар с листьями мяты. Строго контролировал температуру в печи. Оставлял «тропуары» шириной в английский дюйм. Соль и перец – по вкусу. Достав противень из печи, щедро посыпал его перетертой в ручной мельнице смесью из розмарина, фенхеля и базилика. Украшал зеленью. Горячая выпечка «открывала» запах трав. И никаких томатов. Во-об-ще.

Когда Ламар впервые ел пиццу, приготовленную Вилленом, признался он комиссару, у него дрожали пальцы, а рот переполняла слюна. После учебы у лучших мастеров Неаполя! После двадцати лет ежедневного труда! Виллен продиктовал ему рецепт, поделился специями. Я почти ничего не придумал, сказал он напоследок. Просто нашел описание в одной старой французской хронике.

После того, как Раймонд Тулузский с воинами – единственный, кто не принял участия в разграблении Иерусалима и тотальной резне – отпустил гарнизон арабов, охранявших башню Давида, они через много лет снова встретились, в Сирии. У крестоносцев было вяленое мясо, сыр и бочки с бургундским – лучшим вином Франции. Арабы научили их выпекать восточный хлеб – питу – и поделились секретами специй. И те, и другие были превосходными травниками. О томатах тогда никто даже не слышал. В Европе они появились только в шестнадцатом веке, на Ближнем Востоке – три века спустя. Шафран придает тесту золотистый оттенок, поэтому хронист назвал получившееся блюдо «Золотой или Солнечной Питой». Это была пицца примирения, благодарности и воспоминаний о былом.

Если стряпать одно и то же блюдо десятилетиями, постоянно подыскивая идеальные ингредиенты, совершенствуя приемы готовки, сказал Виллен, даже бездарный любитель вроде меня сможет утратить нос любому профессионалу. А уж тем более прирожденный шеф. У вас все получится, Ламар. Я в вас верю.

В те месяцы он редко выбирался в город, поскольку все свое время посвящал книге, написать которую пообещал покойной жене. Когда они снова увиделись и он узнал о победе, Виллен обнял Ламара по-отечески. Он не удивился, однако был искренне рад.

– А как вы узнали о его смерти? – спросил Рамо.

Однажды Виллен пришел сюда и попросил присылать ему пиццу каждую пятницу, в семь вечера. Если угодно, он был готов заплатить за несколько месяцев вперед. Но Ламар отказался брать деньги. Единственная просьба Виллена – звонить перед доставкой. И если он не ответит....В этом и состояла сделка со стороны Петру.

– Он дал мне сто франков, попросив купить три килограмма креветок петит и бутылку оливкового масла. Оставил визитку похоронного дома в Безье и доверенность на мое имя, разрешающую забрать останки. Если он не поднимет трубку, я должен был сообщить в полицию и проинформировать агентство. Он сказал, там обо всем позаботятся.

– И вы развеяли прах?

– Я сделал все, как он просил. Останки запрещено пересылать в почтовых отправлениях. Поэтому я забрал его пепел, засыпал креветками, залил маслом. Тщательно взболтал. Потом поехал на пристань, попросил парнишку Идо, хозяина моторки, отвезти меня на Птичий остров. И там опустошил посуду, разбросав все как можно дальше.

Комиссар помешал теплый кофе, убедившись, что сахар полностью растворился. Затем вытащил ложку и опустил ее в блюде.

– Он объяснил, зачем?

Сарду помедлил, ощупывая пальцами узор на салфетнице:

– Он сказал: «Я не хочу воскресать, Ламар. Если сказка о Втором Пришествии вдруг окажется правдой...Креветки в соусе из профессора Сорбонны! Черт возьми! Что может быть вкуснее?! На Птичий слетаются пернатые со всего мира. Там пересекаются их пути. Надеюсь, они высрут меня вразброс так распыленно, что все небесное воинство не сможет отыскать ни одной частицы...»

Вы когда-нибудь видели растерянные глаза ангелов?..

Божественно...

Первый

Однажды случилось так, что Уважаемый Камиль с пультом в руках скучал в своем домашнем кинозале, одном из двух, расположенных в его резиденции. Он попал на документальный канал, где демонстрировали фильм, посвященный первому и единственному индийскому космонавту Ракешу Шарме. Трудно сказать, интересовался ли Уважаемый Камиль космической эпопеей человечества до того, поскольку порой он обнаруживал глубокие познания в самых неожиданных областях, чем давно уже снискал страх и уважение в глазах своих врагов и приближенных. Но в тот вечер, сидя перед экраном двадцать на десять метров, он вдруг пришел к мысли, что полковник Шарма удивительно похож на его покойного дядю Золтана.

Уважаемый Камиль велел одному из своих людей найти копию этого фильма. И, пересматривая его несколько раз подряд, с покадровой остановкой в тех местах, где Шарму показывали крупным планом, все больше убеждался, что разрезом глаз, линией подбородка и орлиным взглядом он – точная копия его дяди по материнской линии. Тогда барон позвал к себе самого мудрого из старейшин их рода и, показав тому, уже полуслепому, изображение индийского космонавта, спросил его мнение. Не считает ли он, что в жилах этого достойного мужчины течет цыганская кровь? Старик долго кряхтел, щурился. Бормотал невнятицу между периодами рассуждений, избегая четкого ответа «да» или «нет». Наконец, мужественно признал, что видел эту торговку в пятьдесят седьмом году в Дербенте, однако, чей у нее ребенок, и кто украл жеребца с треснувшей задней подковой, он так и не знает.

Мудреца напоили чаем и увели под руки. Сам барон понял, что интересующий его вопрос не лишен философии. По большому счету, все ромы так или иначе вышли из Индии, а значит, как ни крути, у них с индийцами, что называется, генетическое родство.

Барон, как человек последовательный, на всякий случай поручил Яромиру, самому смышленому и образованному из своих подручных, внимательно изучить биографию Ракеша Шармы на предмет цыганских корней. Через неделю Яр вернулся с докладом. Он начал с перечисления тех источников, с которыми ему пришлось ознакомиться, включая тексты на хинди и бенгальском. Здесь Уважаемый Камиль остановил его жестом. И попросил перейти к сути.

– Я поднял его родословную до седьмого колена, – сказал Яр. – Нигде, ни в одной метрике или учетной книге не сказано, что кто-либо из его родни когда-то принадлежал или относил себя к цыганам.

Уважаемый Камиль задумался. Однако Яр не был бы собой, если бы заранее не предвидел хода мыслей своего господина. Поэтому он, конечно же, самым подробнейшим образом изучил все космические анналы. Персонажей, которые могли бы представлять интерес, на самом деле оказалось не так уж много. Если брать в хронологическом порядке, то ни болгарин Георгий Иванов, полетевший в космос в 1979-м, ни румын Думитру Принариу, поднявшийся в 1981-м, ни болгарин Александр Александров (1988), ни испанец Педро Дуке (1998), ни словак Иван Белла (1999), ни бразилец Маркус Понтис (2006), – не имели цыганских предков. По крайней мере, в текущем и предыдущем столетиях.

Он как раз собирался признаться в этом своему патрону, но их прервали. Чаво сообщил, что приехал Штефан со своими людьми. И на этот раз они привезли с собой Цадика. Барон изъявил желание видеть их немедленно. Через несколько минут к нему привели молодого человека лет тридцати, босого и нагого, замотанного в серую простыню. Прежде чем тот успел открыть рот, Штефан извинился за его вид, поскольку ребята буквально сняли его с какой-то шлюхи в портовом борделе. Барон с любопытством разглядывал статую. Широкоплечий, длиннорукий, сложен, как греческий бог. Густые, сальные патлы, закрывающие лицо. Дерзкий, издевающийся взгляд исподлобья. Почти Бред Питт в «Большом куше». Только смуглый. Черные, как смоль, волосы. И без идиотского кожаного котелка.

– Ну, здравствуй... Лала...

Сторонним людям было бы нелегко узнать в этом «натурщике» троюродного племянника барона, исчезнувшего почти десять лет назад. Когда-то, в день его совершеннолетия, барон, специально приехавший в Белград, подарил ему роскошное коллекционное ружье с золотой отделкой и инкрустацией драгоценными камнями. Лала продал ствол на следующий же день и просадил все деньги в казино. Он явился к дяде через месяц с просьбой одолжить ему пятьдесят тысяч немецких марок на собственный бизнес. Лала сказал, что планирует открыть ресторан. Барон дал ему деньги, но тут на Балканах началась война. Смерть, бомбежки, неразбериха. Лала снова пришел к нему, умоляя одолжить сто пятьдесят тысяч долларов на переезд в Испанию, где у него был близкий друг, готовый приютить и поделиться своим проектом в области высоких технологий. Как тут не помочь родственнику, спасающему свою жизнь?

Никакого партнера, конечно, не было. Лала уехал в Испанию, тем более, что барон подсказал нужных людей, по сути выстелив ему гладкую дорогу своим влиянием. И поступил с этими нешуточными деньгами так же, как и с предыдущими. Спустил все за карточным столом. После этого за что он только ни брался. Сбивал ворованные автомобили и компьютеры. Промышлял сутенерством. Подряжался возить наркотики, встречая в войну между кланами дилеров и чуть не поплатившись за это жизнью. Он кочевал из одной страны в другую. Продавал фальшивые евро. Торговал оружием и поддельными паспортами. Устраивал подпольные бои. Не раз возглавлял банды головорезов, досаждавших дальнобойщикам от Гданьска до Порто. Словом, занимался делами, достойными мужчины, любящего риск. Плохо было не это, а то, что все свои заработки, как правило, нелегкие и опасные, Лала просаживал за игрой. Итальянские полицейские прозвали его Цадик после того, как он организовал аферу, сколотив вокруг себя псевдообщину хасидов, якобы пытавшихся возродить веру праотцов и собиравших пожертвования на строительство синагоги. Лала был у них духовным вождем, учителем.

Уважаемый Камиль недоумевал, как этот доморощенный Казанова, проглотивший язык, мог обмануть столько евреев. Он попросил, чтобы к нему прислали Шихмана с его гроссбухом. Явился старик, больше похожий на портного, чем на бухгалтера. Как всегда без эмоций, он посчитал, что с учетом выделенных Лале сумм и процентов по среднегодовой ставке европейского банка – без штрафных санкций

– долг Лалы составляет двести семьдесят три тысячи евро. Лала, молчавший все это время, невозмутимо произнес, что готов вернуть эти деньги в течение недели. Дескать, у него свои должники, и если достопочтенный барон позволит ему срочно вернуться в Голландию, чтобы истребовать положенные ему деньги, то он выплатит все до последнего евроцента.

– Цыган, который садится играть и проигрывает, – это не цыган. Черт никогда не станет играть с цыганом, понимая свои шансы. Еще позорнее – проиграть и отдать деньги. И уж совсем никуда не годится просаживать целое состояние раз за разом. Если ты видишь, что карты – не твое, какого ты играешь? На что надеешься?..

Лала молчал.

– Когда-то у меня был первый гидроцикл в этой стране. Я собрал всех своих братьев и сестер, и мы отправились отдыхать на Балатон. Мой гидроцикл доставили туда же. Я очень хотел прокатиться на нем по водной глади. Но каждый раз, когда я садился на него, он уходил под воду. Я оказался слишком тяжел. Поэтому я подарил его Бранко, твоему отцу. И смотрел, как он был счастлив, рассекая волны. Тебя еще не было в помине, а я уже весил слишком много. Если ты понимаешь, о чем я.

Барон отпустил бухгалтера.

– Дело не в деньгах. Что деньги? Пыль. Знаешь, что самое обидное? Ты десять лет катался по Европе. Где тебя только не было. Только и слышишь: Лала в Париже, Лала в Праге, Лала в Ницце, Лала в Лондоне. Но у тебя так и не нашлось минуты, чтобы поведать старика. Да что там поведать – хотя бы позвонить. Набрать номер на своем гребаном мобильном и спросить: как ты, дядя? Жив еще, старый пердун? Или уже сдох? Клянусь, если бы ты просто позвонил, если бы ты просто заехал ко мне как-нибудь с бутылкой виски и коробкой вонючего голландского печенья, – я бы обнял тебя, как сына, и никогда не заикнулся бы о деньгах. Ведь мы с тобой родственники, Лала. Хочешь ты того или нет.

Лала, подобрав край простыни, высморкался.

– Рад, что ты готов вернуть долг, – сказал барон. – Правда, прокатиться придется немного дальше. Я даже оплачу тебе дорогу в оба конца и все сопутствующие расходы.

Затем барон обратился к Штефану:

– Купи ему одежду. И отвезите к Георгу, в госпиталь Святого Фомы. Я позвоню, вас встретят. Проследишь, чтобы он сдал все анализы, все обследования, которые ему назначат. Он должен проверить все полностью. И смотрите, чтобы не сбежал.

Лала, мгновенно побледнев, взглянул на барона с издевательской усмешкой:

– На органы разберете, дядя?

Озадаченный барон перевел взгляд с Лалы на Яра, потом на Чаво и снова на Штефана:

– У психиатра – два раза.

Когда Лалу вывели, Уважаемый Камиль вернулся к Яру с новым поручением. Если с Лалой все в порядке, в смысле здоровья, в чем барон несколько не сомневался, нужно будет устроить этому засранцу... полет в космос. Туда и обратно. Пару витков вокруг Земли. Важен сам факт: Лала из рода Джинджич – первый цыганский космонавт. Вчера вечером барон лазил в интернете и выяснил, что этим «космическим туристам» – американцу Безосу и британцу Бренсону – их вояжи обошлись примерно в тридцать миллионов долларов с носа. Уважаемый Камиль готов заплатить пятьдесят. Вопрос – как это сделать.

Отправкой туристов на орбиту занимаются особые ведомства и корпорации. Большинство из них – американские, но с русскими летать дешевле. Заявиться к ним просто так с грузовиком денег не выйдет. Любое серьезное сотрудничество начнется с подписания договора. Они укажут банковский счет, на который нужно перечислить средства. А перевод – это неизбежный засвет перед ФАТФ и необходимость доказы-

вать легальность полученных доходов. Даже если речь о смешных десяти тысячах евро. Нельзя привезти в НАСА чемоданы налички и сказать: «Отвезите меня в космос». Они с удовольствием взяли бы, но боятся закона и пекутся о своей репутации. Поэтому правильнее всего создать большой благотворительный фонд для сбора пожертвований. Такую общецыганскую кассу. Пускай все цыгане, все хозяева легальных бизнесов – кузниц, ресторанов, пекарен, заправочных станций, гостиниц – помогут отправить в космос первого и единственного цыганского космонавта. И любой цыган или цыганка смогут в любом отделении банка в любой стране перевести свои кровные десять-пятнадцать евро, долларов или фунтов на это благое для всего цыганского народа дело.

– А дальше, – сказал барон, – будет вот что. Те цыгане, у которых есть шиномонтажки, пошивочные цеха или маслобойни, не дадут ни копейки, потому что не принято у цыган собирать деньги подобным способом. Они всегда подозревают подвох даже там, где его нет. Но найдутся мечтатели и романтики с широкой душой, грязные и нищие. Именно они станут присылать свои засаленные бумажки. И при таких раскладах понадобится триста лет, чтобы собрать на полет. Так что единственное, чего мы сможем добиться, открыв фонд, – это раструбить о нашем цыганском космонавте по всему миру и привлечь внимание людей на всех континентах. А это уже немало.

Фонд будет постепенно наполняться и рекламировать сам себя. Затем появится очень влиятельный и очень богатый меценат, который с барского плеча внесет всю недостающую сумму. И даже больше. Самое главное: этот человек абсолютно чист перед законом. Все его капиталы будут иметь «белое» происхождение. И ни одна свинья, ни один фискал в мире не смогут придаться ни к одному доллару, вложенному в проект.

Меньше, чем через неделю, уважаемый барон уже сидел на веранде загородного дома под Нью-Йорком, в гостях у своего друга детства, международного финансиста Горана Фекетеша. После сытного ужина они попивали столетний коньяк и дымили лучшими кубинскими сигарами из коллекции самого Фиделя Кастро. Фекетеш не раз помогал цыганам. Благодаря ему несколько лет назад появилась первая цыганская автономия в Габровском крае. Тогда он стал главным меценатом и распорядителем-подрядчиком большинства крупных инфраструктурных проектов. Как бизнесмен и авантюрист Фекетеш одобрил идею. И согласился помочь бесплатно, понимая, что дело будет иметь общественный резонанс и популяризировать его положительный имидж.

– Ты не сможешь провезти деньги в Штаты. Только через Мексику. Да и это опасно.

– Доставят в твой офис в Буде.

– Десять чемоданов евро? Вот так вот просто? Отдашь и уедешь?

Фекетеш смотрел на Уважаемого Камиля с робкой и одновременно хитрой улыбкой, в которой читалось: «Никогда не соблазней старого вора, даже если он поклялся всем святым, что навек завязал». А барон улыбался еще шире, понимая, куда гнет его добрый друг. Потому что сердце барона было гораздо больше, и к его великодушному смеху, говорившему «куда ты денешься?», примешивалась горечь правды, над которой плакал когда-то Сандро Македонский, осознав конечность земного шара и ограниченность своей мечты.

Фекетеш предлагал иметь дело с русскими. Там проще договориться и больше опыта. Но барон настоял на том, чтобы проект был американским. Раз у янки хватило ума бомбить сербов, пусть наберутся мужества отправить хотя бы одного сербского цыгана в небо – живым. Тем более, за чужой счет. В результате сошлись посредине. Экипаж будет полностью американским. Компания-организатор тоже. Но ракету доставят русские, и запуск будет осуществлен с российского космодрома.

Некоторое время барон раздумывал, не стоит ли ему купить собственный космический аппарат, однако пришел к выводу, что приобретать золотой автомобиль ради одной поездки – глупо и непрактично.

Подготовка традиционно проходила в космическом городке и заняла больше года. Лала был единственным звездным курсантом в истории, возле которого днем и ночью находились телохранители. Только когда его доставили на стартовую площадку и закрыли за ним люк, эти суровые парни облегченно вздохнули и позволили себе слегка расслабиться, не спуская глаз с ракеты, пока она не исчезла в верхних слоях атмосферы, и они, осмотрев после развеявшегося дыма оплавленные, все еще горячие, стойки в бетоне, убедились: Лалы среди них нет.

Уважаемый Камиль посчитал, что суток, проведенных на орбите, достаточно. Он также настоял на том, чтобы Лала в одиночку выбрался в космос. Хотя обошлось это на четыре миллиона дороже.

Трансляцию вели двенадцать телевизионных компаний в Америке и Европе. Миллионы людей по всему миру, большей частью цыгане, следили за своими экранами и мониторами. Все шло по плану. До той самой секунды, пока Лала не отцепил страховочный трос, которым его скафандр был пристегнут к корпусу космического корабля, и, оттолкнувшись ногами, стал удаляться в открытый космос, с двух рук показывая камерам средние пальцы своих космических перчаток. Его динамики разрывались от воплей на трех языках – из центра полета и оставшегося внутри модуля экипажа. Остановить его никто не мог. Он не произнес ни звука. Просто улыбался, направляясь в черные дебри Вселенной.

– Сукин сын, – с ответной улыбкой прошептал Уважаемый Камиль, ни на секунды не отрывая взгляда от своего гигантского экрана. Похоже, он один понял, кому предназначался жест. Дурачок! Мог бы вернуться и стать героем. Человеком, которого показывали бы по телевизору, возили по разным странам, бесконечно устраивая пресс-конференции. Сделали бы депутатом или Послом Доброй Воли. С его молодостью и харизмой, он мог бы купаться в роскоши и круглосуточно осеменять красоток, рекламируя «Жилет» или «Олд Спайз». Сниматься в кино. Стать фирменным лицом какого-нибудь брутально-мужского бельгийского пива.

Но он выбрал свободу – самую безумную, безграничную и бесповоротную. От всего и от всех. Только земля носит цыгана. Только ветер ему попутчик. А там, где нет ни земли, ни ветра, ни воздуха, ни света – что может стать преградой для цыганской души?

Лала перехитрил его. Выскользнул из земной юдоли сразу в легенды. Все космонавты, побывавшие наверху, либо вернулись, либо погибли при неудачном запуске или роковой посадке. А Лала Джинджич ушел в открытый космос на глазах у всей планеты, и как был – молодым, статным, строптивым – превратился в сына Вселенной, покорителя ее широт, высот и глубин. Отныне все цыгане мира знали, что там наверху, над ними, парит невидимый с Земли Лала, днем и ночью приглядывающий за цыганским счастьем. Его портреты, фото и самодельные картинки появятся в цыганских домах и машинах. К нему станут обращаться в молитвах и просьбах. Его гневом будут пугать своих непослушных детей. И верить, что однажды он вернется на Землю, рассудит всех и всем воздаст по заслугам. Потому что ни у одного народа, кроме разве что евреев, не было живого заступника, вот так вот, у всех на глазах, вознесшегося на небеса и даже выше. А у цыган есть.

С рождения глаза Уважаемого Камилля смотрели в разные стороны. Поэтому никто не мог бы одновременно заглянуть в оба из них. В медицине это называлось амблиопия, а по-простому – «ленивый глаз». Но если бы нашелся такой человек и рассказал барону о смерти Лалы, у которого закончился кислород или загорелся костюм, барон бы ответил:

– Кто умер? Лала умер?

И от чистого сердца он рассмеялся бы этому несмысленному в лицо, так ничего и не понявшему в цыганской жизни. Солнце будет всходить. И луна заливать землю ночным светом. И оба будут отражаться в золотых коронках на зубах его любимых собак, охраняющих поместье. Мало ли какие еще фокусы, помимо выброшенного Лалой, известны барону. Тому самому барону, чей далекий прапрадед за тридцать земель и морей показывал когда-то на ярмарке сухой лед отцу с сыном. И в восхищенных глазах мальчика сумел увидеть себя в его взрослых воспоминаниях у кирпичной стены много лет спустя, за минуту до расстрела.

Дава

Веденский пришел поздним вечером. Долго возился с ключами в парадном. Запустил полосу бледного света в прихожую и некоторое время стоял в полной темноте, отогреваясь. Прислушивался к звукам из глубины дома. Затем, не снимая перчаток, нащупал выключатель справа от дверей. Повернул его. Коридор озарился трехпалой люстрой под потолком. Веденский поморщился, несмотря на то, что по-прежнему оставался в шляпе. Пристроил на трюмо старый, темно-коричневый портфель с бумагами. Снял пальто, повесил его на крючок пристенной вешалки. Опустился в кресло, чтобы освободиться от калош. Устало выдохнул. Ступни выполняли странные па, пытаясь подцепить и сбросить холодную резину, пока он задумчиво смотрел перед собой, не двигаясь и не моргая.

В дверном проеме плавно возникло белое пятно.

– Не спишь?

Юлия в ночной рубашке до пят и накинутом поверх байкового халата мужа стояла, привалившись к косяку, молчаливо и тревожно наблюдая.

Веденский, разделавшись наконец с обувью, снял шляпу, положил ее на трюмо. Закинул голову назад и сидел с закрытыми глазами. Потом тихо произнес:

– Полозов арестован.

Юлия сплела руки на груди:

– Его же уволили?

Веденский погладил все еще холодную тулю и скривил губы в горькой усмешке:

– Насладились экзекуцией. Вышвырнули. А ночью приехали с обыском. И забрали.

Он впервые взглянул на нее, чтобы показать – ему не страшно. До такой степени он устал все время бояться.

– Ты ложись, душа моя. Я не голоден. Чаю выпью за корректурой. И на боковую.

В третьей книге «Науки любви» Овидий давал советы мудрым женщинам о том, как привлечь внимание и сердца мужчин. Веденский пробежал несколько фрагментов, подстраиваясь под ритм. Нашел место, на котором остановился в прошлый раз. Стал вычитывать собственный перевод, сверяясь с латинским оригиналом. Он почувствовал, как теряет нить. Списал на усталость и поздний час. Бледный Полозов все время стоял у него перед глазами. То, что случилось, напоминало эпическую драму. Как в пушкинском «Каменном госте» командор схватил в последнем рукопожатии своего обидчика, так и беднягу Полозова утащил за собой в подземелье генералиссимуса Суворов.

Вчера на собрании Петр Зайцев, заведующий секцией переводчиков при московском объединении писателей, устроил показательную порку его давнему товарищу. Итог трехлетней кропотливой работы, блестящий перевод байроновского «Дон Жуана», вместо похвалы и признания принес выдающемуся языковеду Андрею Полозову выговор, увольнение, арест. И все это только за то, что он позволил себе бук-

важно передать текст оригинала. Там, где говорилось о русских войсках и их предводителе Суворове, Байрон не особо подбирал слова, предпочитая язвительную правду воспеванию воинской доблести. Англичанин не имел ничего личного против русских или Суворова. Он просто был пацифистом. И любую войну считал глупой, жестокой, бессмысленной бойней. Байрон не хотел украшать войну, а Полозов решил не исказить Байрона. Злая ирония заключалась в том, что Андрей, прекрасно знавший древнеримские трактаты об ораторском искусстве, многие из которых именно он представил русскому читателю, позволил Зайцеву обвести себя вокруг пальца. За всецелой подsunул ему первый тезис в качестве приманки, а Полозов щедро извел на него всю обойму доказательств собственной правоты. Он использовал тяжелую артиллерию там, где вполне мог справиться эскадрон кирасиров. Упомянуть ЦК нужно было в конце, а не в начале. Веденский понимал логику Андрея. Тот пытался пресечь начавшуюся травлю в зародыше. Но Зайцев как фронтовик прекрасно разбирался в тактике. И не дал ему этого сделать.

На первый же выпад Зайцева Андрей ответил, что у него как переводчика в ходе работы над поэмой возник вопрос: стоит ли транслировать Байрона дословно или правильнее отойти от текста, смягчить его формулировки, добавить ретушь, с тем чтобы лучше приспособить конечный текст к «нашим взглядам». Андрей осмелился послать «обширнейшее» письмо в ЦК, в котором он привел оригиналы всех спорных мест и снабдил их своими переводами. Его интересовало, вправе ли переводчик отходить от оригинала, и не вызовет ли такая ретушь неблагоприятный политический резонанс.

Ответ пришел на официальном бланке. Центральная партийная пресса, говорилось в нем, уже высказывалась о недопустимости каких-либо «обработок» классиков. Перевод должен быть точным. В письме также сообщалось, что предоставленный товарищем Полозовым А.И. перевод «суворовских мест» в поэме Байрона «Дон Жуан» возражений не вызывает.

Зайцев покрутил в руках отданный ему Андреем оригинал письма и продолжил как ни в чем не бывало.

– Вряд ли товарища, – он бросил взгляд на подпись, – Топоркина устраивает, что великий русский полководец назван, я цитирую, «двуликой особью», «шутом», «арлекином». Что он совершенствует калмыков, я цитирую, «в искусстве благородном убийства».

– Но именно так сказано у Байрона.

– Подождите, Полозов. Мы выслушали вас, не перебивая.

Зайцев замолчал, отыскивая пассаж, на котором его прервали:

– Не думаю, что товарищу Топоркину нравится, когда русский генералиссимус, я цитирую, «вновь начал в грудь солдата вдвухать желанье битв, венчаных грабежом». Вдумайтесь: битвы ради грабежа. Что Суворов предстает как один из тех вождей, которые, я цитирую, «насеяли ад героями и в мир несли с любой победой мрак и отчаянье». Что он, цитата, «погибать своим предоставлял войскам, лишь бы они ему победу одержали».

Он сделал паузу, посмотрев из президиума в зал. Как бы брезгливо отложил в сторону лист бумаги и взялся за следующий.

– Какими же в переводе Полозова предстают русские солдаты? Цитирую, «рохли и увальни». Грубые, неотесанные, свирепые солдафоны, привыкшие убивать женщин, детей и стариков. Вы слышите это? «Кутузовские орлы», которые жмутся друг к другу из трусости.

Андрей поднял руку и спросил:

– А как в оригинале?

Зайцев резко хлопнул ладонью по столу и побагровел:

– Нам нет дела до оригинала!

На его скулах заходили желваки. Он ощупал пуговицу в петлице косоворотки:
– Я мог бы рассказать вам, Полозов, на что способны простые русские солдаты. Но не считаю нужным делать это. Вы и вам подобные все равно не поймете.

Он подождал. Успокоился и произнес в прежнем, дидактическом тоне:

– Переводчик имеет право на творчество. Но разве советская школа перевода учит оскорблять советского читателя, сохраняя искаженный образ великого полководца? Разве к такому издевательскому искажению и фальсификации подлинника призывает она? Уверен, Центральному Комитету и, в частности, уважаемому товарищу Топоркину хватает дел и без поэмы Байрона. Но мы, товарищи, просто не вправе перекладывать нашу с вами ответственность за выпускаемые книги... Вы признаете свою вину, Полозов?

Во время этого пассажа Андрей стоял потупившись, и когда его спросили, ответил:

– Я снова, в который раз, обращаю внимание присутствующих на то, что все упомянутые здесь цитаты, все насмешки над русской армией и места, оскорбляющие Суворова, всецело присущи оригиналу.

– То есть вы сознаетесь в злом умысле? Вы только что признали, Полозов, что пытались подsunуть советскому читателю, образно говоря, чашу, зная, что в ней - яд. Андрей не ответил. И только потом, помявшись, сказал:

– Я хочу сделать заявление.

– Говорите, – холодно бросил Зайцев.

Судя по всему, сказал Андрей, он закончил свою переводческую деятельность и больше ни за какие переводы браться не будет. За все годы сотрудничества он ни разу не встретил живого интереса к тому, чем он занимался, со стороны руководства. Никто даже не заговорил с ним, просто, по-дружески. При сложившемся положении его дальнейшее присутствие в секции переводов лишено всякого смысла. Он просит секретариат рассмотреть его заявление об уходе.

Самодовольная, злобная, торжествующая улыбка расцвела на лице Зайцева.

– Нет, Полозов! – произнес он, смакуя каждое свое слово. – Нет! И еще раз нет! Дорога ложка к обеду! У вас было немало возможностей признать свой проступок и исправиться. Но вы продолжали настаивать на своем. Поздно! Мы не дадим вам сбежать с высоко поднятой головой! Мы сами вышвырнем вас прочь, как изменника и предателя, порочащего высокое звание советского переводчика!

Они спешно проголосовали. Из всех присутствующих на заседании только Венский, его жена Юлия Никитина и старик Добровольский высказались против исключения Полозова. Но никто из них и предать не мог, что за этим последует арест. Зайцев превзошел собственную гнусность. Он упивался ею. Андрей готов был уйти сам, однако Зайцеву захотелось не просто отобрать у него кусок хлеба, а попутно лишить возможности вообще зарабатывать своим ремеслом. Исключение означало волчий билет. Ни в одну из московских или питерских контор, где за переводы более-менее сносно платили, его больше не возьмут. Страшно подумать, но, быть может, арест после этого выглядел как лучший выход. Милосердие палача, избавляющего жертву от долгих мучений.

Он представил квартиру Андрея на Моховой. Перевернутую вверх дном в часы погрома библиотеку, письменный стол, комоды и шкафы. Квартиру, в которой бывали Зоценко, Замятин, Мандельштам. Ему вспомнилось четверостишие, написанное Андреем после известия о смерти Иосифа, его близкого друга:

*Жреца убили плюшевые волки.
Пожизненно высокий и седой
В своей краеугольной треуголке
Заколот безымянною звездой.*

После собрания он засиделся допоздна в их с женой крошечном кабинете под крышей, занимаясь бесполезной сортировкой бумаг и пытаясь отогнать назойливую мысль, фатальное предчувствие, что, отведав крови Полозова, завсекцией вскоре проголодается вновь и, опьяненный удачной расправой, выберет новую жертву. Веденского не покидала уверенность, что следующими будут они с Юлией.

Жизнь давно научила его: бывают настоящие красные, а бывают перекрашенные. Вторые – худшие. Пролетарии, дети рабочих и крестьян, недалекие, необразованные люди искренне приняли всей душой новый режим, пообещавший им свободу, землю и рабоче-крестьянскую власть. А вторым пришлось выживать и приспособляться. Перекрашенные делились на два основных типа. Одни, несмотря ни на что, оставались людьми и в сложных жизненных обстоятельствах протягивали руку помощи своим собратьям по несчастью. Другие, наоборот показательно отрекались от своего прошлого и рьяно присягали новой власти, как правило, на крови.

К последним и принадлежал Зайцев, сперва отчисленный большевиками из университета по сословному признаку. Его старший брат был кадровым офицером Белой армии, и, чтобы доказать свою лояльность новой власти, Зайцев со студенческой скамьи добровольцем ушел на фронт. Попал в артиллерию, из простого рядового дослужился до командира полка. Был комиссован по ранению, что дало ему возможность окончить прерванный университетский курс. Получивший прекрасное домашнее образование, он, помимо латыни и греческого, знал французский и английский, немного хуже немецкий. Имел склонность к публицистике и, раскусив слабость большевиков к ярким метафорам, уже как вооруженный пролетарским пером ветеран войны сделал карьеру при Гублите.

Людям «старого уклада» Петр Зайцев был опасен уже тем, что знал их ценности изнутри. Он сам являл плоть от плоти того времени, и никакая буденовка не смогла окончательно выпрямить его гимназические кудри. Иногда он поражал проникновенным эпитетом, фразой, которая могла сорваться с его губ только в кругу «своих», неожиданным участием. В такие минуты Веденский ждал, когда сквозь партию «Марсельезы» и походных маршей пробьется, как робкий луч сквозь серость облаков, слабая, едва различимая тема баховского альта из «Страстей по Матфею». Но увы, всякий раз внутренний грызун побеждал внутреннего апостола. И, отряхнувшись, прыгал прочь, в партийные кущи, за новой морковкой.

Однажды, до ареста Полозова, Веденский глупо подставился. Следование нормам профессионализма привело к тому, что завсекцией заимел на него зуб. Зайцев симпатизировал молодым переводчицам, барышням бунинского типа, с высокой шеей, роскошными бедрами и в меру большой грудью. Одна из таких разродилась достойным переводом последнего романа Диккенса «Наш общий друг», который Веденский, в принципе, одобрил, но снабдил пятистраничным комментарием неточностей и ошибок.

Очевидное незнание девушкой английского быта той эпохи привело к тому, что господа в переводе обращались к прислуге на «ты», английские лорды отпускали словечки вроде «ужо», «тятенька», «куфарка», «надись». Британские фразеологизмы передавались с помощью русских пословиц, притом что сам Веденский был убежденным сторонником прямого, точного перевода. И если у Гейне, к примеру, следовала фраза «однажды ошпаренная кошка всю жизнь боится холодного котла», то только так ее и следовало переводить на русский.

– В подлиннике говорится, – объяснял Веденский своей молодой коллеге. – «Их мебель была новая, все их друзья были новые, вся их прислуга была новая, их серебро было новое, их карета была новая, их сбруя была новая, их лошади были новые, их картины были новые, они сами были новые». Вы же перевели эту фразу так: «Вся их мебель, все их друзья, вся их прислуга, их серебро, их карета и сами они были с иголки новыми».

– Я забыла упомянуть картины и сбрую с лошадьми.

– Дело не в лошадях, дражайшая моя Лидия. Неужели вы и вправду допускаете, что такой блестящий стилист, как Диккенс, девятикратно повторил одно и то же слово просто так, из лени?

Переводчица мило захлопала ресницами.

– Автору было угодно, – продолжил Веденский, – повторить одно и то же прилагательное при каждом из девяти существительных. Вы же пренебрегли этим настойчивым повторением. И тем самым обеднили, обкарнали всю фразу. Отняли у нее ритм.

В итоге переводчица пожаловалась, обвинив своего куратора в предвзятости.

Зайцев ни в чем открыто не упрекнул Веденского, не стал спорить с ним. Потому что умел правильно оценить ситуацию и, если нужно, очень долго ждать.

В профессиональных кругах Давид Веденский считался лучшим из всех советских переводчиков Диккенса. Так, как Веденский, Диккенса не знал никто. Зайцев же считал его знания избыточными, а переводы, получавшиеся у Веденского и позже ассистировавшей ему супруги Юлии Никитиной, чересчур буквальными, наполненными грудой никому не нужных подробностей. Вынужденный рецензировать работы «английской парочки» в качестве выпускающего редактора Зайцев не раз ставил это на вид.

– Вы с таким умилением пишете об Англии, – говорил он Веденскому с глаза на глаз. – Так подобострастно собираете бытовые подробности. Зачем вам это, Давид Александрович? Не боитесь? Времена нынче не простые, сами знаете. Зачем рисковать? Ради чего?

– Помилуйте, Петр Григорьевич. Разве же я пишу? Пишет автор. И моя задача – донести то, что он пишет, до читателя во всей строгости и полноте.

– Но советскому читателю решительно ни к чему все эти детали буржуазного быта. Почему вы не хотите взглянуть на мир его глазами?

– А что, у советского читателя какой-то особый взгляд?

– Да. И единственно правильный. Мы с вами, как переводчики, должны, глядя сквозь слова подлинника, видеть изображенную в нем действительность, понимаете? Однако воссоздавать из нее не все подряд, а только то, что нам, советским переводчикам, близко и дорого. То, что не унижает в читателе высокое достоинство советского гражданина.

Первая статья Зайцева против Веденского появилась в «Литературном крикике» менее, чем через полгода после ареста Полозова и носила характер открытой товарищеской дискуссии с еще робкими, пробными выпадами по существу. Он больше советовался, чем критиковал. Разбирая перевод «Посмертных записок Пиквикского клуба» Веденского и Никитиной, Зайцев высказался против неестественного для русского языка синтаксиса, педантичного сохранения фонетики английских имен, чужезычия странных речевых оборотов вроде «джентельменистые господа», «делов на один боб» и т.п. Нужно ли с такой дотошностью сохранять в переводе каждую деталь из жизни чуждых нашему читателю социальных слоев? Уместна ли такая рабская детализация?

«Побывав в стране Диккенса для того, чтобы лучше понять его, товарищи Веденский и Никитина после нескольких месяцев кропотливого труда выдали перевод, оценить всю важность, точность и энциклопедичность которого может лишь узкая группа читателей, уже знакомых как с английским бытом, так и с оригиналом «Записок». Хотя таким читателям, согласитесь, русский перевод едва ли нужен».

Веденский опубликовал ответную статью в «Литературной газете». В легкой, ироничной манере он написал, что целиком и полностью разделяет взгляды товарища Зайцева. Не дело переводчика – заботиться о бережном отношении к оригиналу, о точной передаче всех его деталей. Не его забота – тщательное изучение

исторической эпохи, ее норм и правил поведения, бытовой повседневности. Вместо этого каждый переводчик должен стремиться, как правильно указал товарищ Зайцев, «поставить себя на место автора и увидеть то, что видел он, создавая свое произведение». И переводить так, как если бы Диккенс «сам писал на русском языке, с присущим ему мастерством». Дело за малым. Переводчику надо лишь стать Мольером, Диккенсом или Гюго. Только и всего.

Говорят, прочитав эту отповедь, завсекцией пришел в бешенство.

Свою вторую статью он готовил гораздо дольше и куда тщательнее. Зайцев повторил старую песню о засилии чуждого синтаксиса и неудобоваримых личных именах, несмешном английском юморе и засорении языка многочисленными иностранными заимствованиями.

Но начал не с этого. Он предложил сравнить то, как относятся к Диккенсу в СССР и на родине писателя – в Англии. Советские читатели буквально боготворили классика за его негибаемую позицию защитника угнетенных слоев, правдивое перо реалиста, борца с социальной несправедливостью. В то время, как британские газетчики называли Диккенса парламентским репортерешкой, замалчивали или фальсифицировали его творческие достижения. Тем самым выполняя заказ заправил английской буржуазии, стремившихся оболванить рядовых английских тружеников.

Отсюда Зайцев делал вывод, насколько важно не допустить никаких измышлений в переводе произведений бессмертного классика на русский язык, донести его творчество в подлинном содержании. Ведь искажая смысл некачественным переводом, переводчик фактически обманывает советского читателя и тем самым играет на руку международному империализму.

Так, благодаря Зайцеву качество перевода из сугубо профессиональной проблемы превратилось в проблему политическую. Получалось, что Веденский и Никитина своими «недобросовестными переводами» играют на руку «английской империалистической буржуазии». А быть может, после творческой командировки в Лондон «действуют по ее прямому заказу».

Давиду Веденскому и его супруге несказанно повезло, что после выхода второй статьи Ежова уже сменил Берия, и повальные ночные аресты московской интеллигенции прекратились. Им обоим предложили тихо уйти из писательского объединения, без поражения в гражданских правах. И по сути обрекли на голодную смерть. Куда бы в последующие месяцы ни обращались «враги советской школы перевода», повсюду их ожидало одно и то же.

Первое время им помогли родственники, друзья, ученики и просто неравнодушные. Веденский подрабатывал литературным рабом, делая переводы за четверть их настоящей цены. Когда и эта работа закончилась, они стали распродавать книги и домашнюю утварь на блошиных рынках. Постепенно погружаясь в бытовое средневековье, где Дава Веденский звучал так же привычно, как Гуго Сен-Викторский или Беда Достопочтенный.

Когда-то, в эпоху своей литературной молодости, он впервые перевел с немецкого знаменитый роман Густава Майринка «Голем». Теперь же, размышляя о своих бедах, он понял, что глиняный истукан по-прежнему здесь, что он неотрывно преследовал его всю жизнь, на этот раз – в облике «советского читателя». Что так же, как Полозова убил бронзовый старик Суворов, его погубит каменный болван, марионетка с пустой головой, которой большевики скармливают свои псевдомарксистские писания, заставляя повиноваться и уничтожать все здравомыслящее вокруг. Науськанный Зайцевым «советский читатель» уже разрушил его судьбу. И одолеть этого Голиафа с помощью простой пращи он не в силах.

Вернувшись домой после очередных поисков работы, Веденский обнаружил мертвую Юлию в подвенечном платье, лежавшую на застеленной кровати в спальне. Она приняла весь морфий, который ей выписывали врачи, после проигрыша болезни.

В предсмертной записке, оставленной на столе, она просила никого не винить. Писала, что любит его. И не желает быть ему обузой. Единственное, о чем она сожалеет, что не может сейчас еще раз обнять его, прижаться, поцеловать его руки. Они обязательно встретятся. Но в другом – светлом и счастливом – мире. Письмо заканчивалось отрывком из песни Офелии:

*To-morrow is Saint Valentine's day,
All in the morning betime,
And I a maid at your window,
To be your Valentine.*

*С рассвета в Валентинов день
Я проберусь к дверям,
И у окна согласие дам
Быть Валентиной вам.*

Уильям Шекспир. Гамлет. Пер.Б.Пастернака

Веденский ушел в ночь и сутки скитался по Москве. На следующий день, ближе к вечеру, его задержали за хулиганство в Сокольниках. На одной из боковых аллей, посреди заваленного снегом мертвого сада, он приметил статую медведя, вставшего на дыбы. Пьяный Веденский, расхристанный и без шляпы, обнимал зверя, взобравшись на пьедестал. Прижимался к нему, плакал и шептал в его холодную каменную морду французские стихи:

*Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.*

*A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.*

*Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid!
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait!*

*Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.*

*Временами хандра заедает матросов,
И они ради праздной забавы тогда
Ловят птиц Океана, больших альбатросов,
Провожающих в бурной дороге суда.*

*Грубо кинут на палубу, жертва насилия,
Опозоренный царь высоты голубой,*

*Опустив исполинские белые крылья,
Он, как весла, их тяжко влачит за собой.*

*Лишь недавно прекрасный, взвивавшийся к тучам,
Стал таким он бессильным, нелепым, смешным!
Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим,
Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним.*

*Так, Поэт, ты паришь под грозой, в урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,
Но ходить по земле среди свиста и брани
Исполинские крылья мешают тебе.*

Шарль Бодлер. Альбатрос. Пер. В.Левика

В отделении он признался, что отравил жену. Его задержали до утра, а затем отправили на освидетельствование в городскую психиатрическую больницу. Врачи нашли его нервы окончательно расстроенными и оставили пациента в стационаре, до полного излечения.

Он прожил еще восемь лет.

Трудно определить, было ли состояние, в которое он впал незадолго до смерти, естественным следствием ежедневного приема препаратов, или кто-то вне клиники принял окончательное решение по Веденскому. Так или иначе, ему все-таки удалось то, к чему его так долго призывал Зайцев – увидеть жизнь глазами советского человека. По крайней мере, всякий раз, когда его окликали, он являл миру испуганную гримасу. И те, кому попадалось на глаза опубликованное западными газетами последнее прижизненное фото большевистского вождя Ленина – в инвалидном кресле, с пораженным сифилисом мозгом и взглядом идиота, – безоговорочно соглашались: одно лицо.

Автор выражает искреннюю признательность Андрею Азову, чья монография «Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920-1960-е годы» и использованные в ней архивные материалы помогли при написании данного рассказа.

Чудиновский пастырь

День не задался. На экскурсии по лавре Тихон плелся в хвосте либо совсем отставал, не поспевая за классом. У него болела нога. Так уж получалось, что экскурсовода он почти не слышал. Каждый раз повторялось одно и то же: группа, опережая его, останавливалась перед очередным памятным местом. Все слушали рассказ, пока Тихон безуспешно хромал позади. И как только догонял, они снова уходили вперед. Семеро одного. Где-то посередине этой иезуитской гонки он пришел к мысли, что лучше бы узнать весь их маршрут и спокойно, с отдыхом, самому добраться к его финальной точке. Мысль замечательно-щадящая. Жаль, он не включил свой мозг перед поездкой. Уже утром почувствовал, что за ночь боль только притупилась, но не исчезла. Ему бы тогда сообразить: автобус автобусом, однако в самом монастыре придется идти и идти. А в его состоянии каждый лишний шаг – мука.

Класс, наконец, присоединился к крестному ходу вокруг церкви. Тихон остался наверху, у лестницы. Присел на край лавки под изучающими взглядами двух старух-трудниц в черных одеждах и таких же платках, гревшихся на солнце. Процессию с хоругвями возглавляло многочисленное священство в праздничных одеждах. Следом чинно шествовали наряженные диаконы, служки и прочий монастырский чин. Вяло и нестройно пели. Тихон встрепенулся, когда из-за угла здания за спиной с грохотом выкатилось эмалированное ведро, за которым метнулся монах в темном балахоне. Тотчас подобрал.

Старухи дружно зашипели.

– Ша, демоны! – огрызнулся на них монах, но, заметив паренька, улыбнулся.

Правый глаз его наглухо закрывало веко. Худощавый, долговязый, с густой, но не длинной русой бородой. Черный балахон, от капюшона до пят расшитый узором и шелковыми буквами, ни одной из которых Тихон не понимал. Все это вместе – орлиный нос, костлявость, полуслепота, странные письмена, чем-то смахивавшие на скандинавские руны, и веселый нрав – делало его похожим на Одина. Еще бы посох или, на худой конец, клюку.

С ведром в руках он окинул единственным глазом праздничную процессию вниз и произнес громко, обращаясь к старухам:

– Нучо, вороны? Князь еще не явился. А челядь архиерейская, смотрю, тут как тут?

Постоял немного и, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь легкой походкой мимо сидевших. Видимо, к колодцу или колонке. Старухи злобно глядели ему вослед, едва удерживаясь от плевков в святом месте.

– Принесла нелегкая, – тихо процедила одна.

Вторая пошамкала губами:

– С дальнего скита. На побывку.

– А вот я батюшке расскажу!

Старшая обернулась, чтобы взглянуть на нее, как на нерадивую, и с ноткой обиды в старческом фальцете пропела:

– А то он Федьку не знает! Тоже невидаль!

Эта сценка настолько прочно отпечаталась в памяти Тихона, что пару лет спустя, уже став семинаристом, он не раз вспоминал ее, полагая, что именно она легла в основу его духовного пути. А значит, нужно было не проклинать, а всячески благодарить непутевого соседа Гурова, накануне упросившего его, равнодушного к футболу, стать на ворота. Никого другого просто не нашли. В отсутствие альтернативы ему пришлось поддаться на уговоры пяти человек. Играть он не умел, о чем предупредил их заранее. Но им важно было выполнить формальное правило, и уж точно, половине их даже нравилось, что на воротах противника – неумеха. Прямая выгода. Он все же оказался вполне проворен, чтобы не пропустить ни одного мяча. За что и поплатился ударом в лодыжку от нападающего при штурме ворот. Получается, не пострадал бы – не стал священником.

Если в семинарии выдавалась свободная минута, Тихон старался читать. Иногда, в нарушение устава, читал, лежа на спине, поверх покрывала кровати. В подряснике, свесив ноги через низкую спинку на пол. И поскольку со школы был дальновзорким, то нередко держал книгу над собой на вытянутых руках. Читал много и разное. От обязательных святоотеческих трактатов до современной беллетристики, включая детективы и приключенческие романы. В семинарии существовал и негласный кодекс запрещенных книг. Туда попадали труды раскольников, лиц, лишенных сана, и книги авторов, которые, работая над христианской тематикой, намеренно или непроизвольно искажали постулаты, что могло навредить молодым пытливым умам и мятущимся отроческим душам. На предпоследнем курсе даже читался цикл лекций, «Введение в православную критику», где подобным текстам давалась надлежащая оценка.

Книг схимонаха Феодора (Лагина) в этом списке не было. Их не издавали и старались прилюдно не упоминать. Размышления отшельника изобиловали чересчур вольными толкованиями Писания и Предания, а главное, шли вразрез со многими установлениями официальной церковной жизни. Посему сочинения схимника тайно ходили по рукам семинаристов, отпечатанные на машинке и переплетенные кустарным способом, точно дипломные работы. Их также маскировали под учебные проекты, благочинно озаглавливая, снабжая безобидным предисловием и списком литературы. А внутри, с какой-нибудь седьмой или семнадцатой страницы, порой даже без абзаца, начинался подлинный текст, пугавший церковные чины не меньше ереси. Попадались и блокноты карманного формата, переписанные от руки. Их было легче прятать и проще передавать. В одном из таких, начертанными на кожаной обложке чернильными буквами «ЛЛ», Тихон впервые прочитал лагинскую «Луковку».

Размышляя о церковной карьере, семинаристы старших курсов, как правило, задумывались о двух вещах: распределении по приходам и женитьбе. Согласно церковным канонам, не могли они стать священниками, не будучи женаты. А после бракосочетания и рукоположения обязаны были отправляться в любой приход, указанный духовным начальством. Со своей будущей попадъей Тихон встретился там же, в семинарии. Параллельно с богословским образованием здесь существовало отделение, готовившее регентов церковных хоров, состоявшее сплошь из барышень. Начальство не видело в такой близости ничего зазорного. Скорее наоборот. Девица, посвятившая себя церковному пению, православная и понимающая каноны – прекрасное подспорье молодому пастырю. Пускай знакомятся и встречаются. Пусть создают церковные семьи. Все лучше, чем выйти молодыми и голодными в полный губительных соблазнов, развращенный мир за воротами семинарии.

Тех выпускников, кто имел церковный блат и нужные знакомства, направляли в «теплые» епархии Москвы или Питера, на худой конец – в городские приходы миллионников. Места хлебные и намоленные. Тихон был первым священником в роду и нужных знакомств не имел. Его сослали в тьмутаракань – вымирающую деревню Чудиново, в ста километрах за Итвой, республика Татарстан. Избу прежнего священника там сожгли. Тихону и Наталье пришлось спешно выбирать один из брошенных домов и обосновываться в нем за месяц до наступления холодов.

Приход Чудиново существовал только на карте и в умах епархиального управления. Церковь была старой, бревенчатой, отобранной у староверов несколько столетий назад, затхлой, с протекающей кровлей. Половина деревни до сих пор крестилась двумя перстами. Оставшиеся в живых десять дворов на службах не бывали вообще. Все, что казалось путным, давно бежало из этих гибельных мест подальше, ближе к цивилизации. Запущенные, заросшие бурьянами поля и огороды. По-северному серые, замшелые дома. Поваленные изгороди. Выцветший флаг СССР, до сих пор висящий над сельсоветом. Закрытая и разграбленная школа. Свет давали по часам. С приходом сумерек бесплотные тени мелькали на задних дворах. По субботам, когда звонили к вечерне, стая полусобак-полуволков начинала истошно выть на окраине. И какой-нибудь мужик, допившийся до чертей, выползал из своей землянки, чтобы голышом, на четвереньках, стоя на останках крыльца, составить им компанию.

Молодежи в Чудиново не осталось. Стариков не отпевали, да и хоронили редко. Угасшие в домах деревенские пенсионеры тихо мумифицировались в своих кроватях и креслах, никому не доставляя хлопот. Местные почтальоны потом могли годами присваивать их пенсии. Никому до этого не было дела. Три беззубые старухи (ласково прозванные попадъей «наши пифии») и Степан-сосед, сам себя назначивший церковным сторожем, – вот и вся паства на литургии. Ни прихожан, ни пожертвований. Из епархии – только свечи. Огород садить поздно. Хоть с голоду помирай. Все, отложенные со свадьбы деньги, ушли на закупку харчей. Наталья научилась печь хлеб, в

соседних деревнях разжились крупами, постным маслом, солониной и сушеными грибами. Подпол забили картофелем. Купили керосин для ламп. Так и перезимовали.

По весне довелось заново распахать огород и заводить птицу. Как истые горожане, они набивали шишки, но, по счастью, рядом случались люди, подсказывавшие и помогавшие молодой поповской семье. Любые передвижения по деревне предпринимались засветло. Вплотную к северной околице подступала тоскливая степь, глядя на которую Тихон то и дело вспоминал «Татарскую пустыню» и «В ожидании варваров». Единственная отрада – звонница. Когда он поднимался по деревянным ступеням на переоборудованную под колокол лагерную вышку, у него нередко перехватывало дыхание. Церковь стояла на краю утеса. Внизу – широкий рукав Камы. Дальше – заливные луга. Еще дальше, до самого горизонта, – густой, сине-зеленый лес. В утренней дымке. Или вечернем зареве. Порой там, наверху, он терял дар речи, и единственная мысль, пульсировавшая в его висках, доводила его, спрятавшегося наверху от всех, до искренних слез: как посреди такой красоты могла тлеть настолько убогая, никому не нужная, и по сути своей глубоко скотская человеческая жизнь?

Ему часто вспоминалось прочитанное у Феодора: *Монахи, скрывающиеся в монастырях. Отшельники, населяющие скиты. Люди, бегущие мира. Все – дезертиры. От кого бежите? От Христа. Единственное оправдание такому бегству – непрерывная сокровенная молитва и юродство. Тайный смысл которых – оттянуть на себя врага в духовной брани. Не победить. Где уж нам совершить то, что лишь Христу по силам. Но отвлечь, вызвать на себя, подставиться, собой закрывая других. Защитить их, принимая удары. Дать им повод задуматься, научиться. Выиграть время для них. Не воины мы – шуты гороховые. Нет в нас ничего своего. Ни любви, ни чести, ни достоинства. Все – от Него. Как живы не по заслугам, а благодатью, так и наказаны не по грехам, но по милости. Вот он я – дурачок, дразнящий полчища воинства бесовского. Палят по мне, да попасть не могут. А те, что попадают, не причиняют вреда другим. Потому что и там все посчитано, и там все конечно. Не спастись идут в монастыри и скиты. А гибнуть. Собой жертвуя, ради малых сих...*

Порой Тихон спрашивал себя: каков смысл его служения в этой полумертвой дыре? Сказано: никто не прячет зажженный светильник под перевернутый сосуд, но ставит его, чтобы светил всем. А здесь и светить-то некому. Почти как у Блока: «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека». Приход – четыре человека.

Название Чудиново деревня получила после того, как внизу по реке, еще в царские времена, была найдена золотоносная жила. Прииск просуществовал с полвека. И внезапно выдохся, аккурат к приходу Советской власти. Чудом возник. Чудом растворился. Кое-кто из стариков в соседних деревнях, где приходилось иногда бывать Тихону, пересказывал услышанное от отцов поверье, что однажды вновь выйдет из земных недр золото, и будет его втрое больше, чем при царе. Мало кто этому верил. Но иногда, прознавший о легенде одинокий шабашник, ковырялся на берегу пару часов. Пока, протрезвев, ни убирался восвояси. Когда Аксинья, умершая по старости одна из «пифий», завещала батюшке все свое «богатство» – золотое кольцо и серьги – Тихон, убрав жемчуг, втихаря смастерил очаг в сарае, растопил его антрацитом и расплавил золото, подмешав в него натертую напильником железную пыль и золу. Залил золотой раствор в расщелину камня, найденного на берегу. Дал застыть. И через несколько дней, как стемнело, затопил обратно на мелководье.

Вот так и вышло, что не соврала старики. Возродилась жила. Пошел как-то летом один из местных купаться и приметил камень-самородок. Тотчас набежало любопытных. Уже через неделю, разогнав рыбаков, слетелись старатели со всего района. А чтобы повезло им, щедро жертвовали церкви над утесом. И заказывали службы за здоровье, и покупали свечи подлиннее да потолще. Все лето и осень, до самой зимы ворошили прибрежные воды своими ситами. Об одном Тихон тайно молился – чтобы

не было между ними пьяных драк и убийства. Пока суть да дело, успел он выправить покосившееся крыльцо, заново перекрыть крышу и купол позолотить стальными листами. Словом, не узнать церковь.

Самой младшей, Варе, только справили год, как на следующий же день Тихона схватил приступ аппендицита. Пока мог, терпел. Думал, кишечное что-то, отпустит. Отвары попил, но боль так и не унималась. Ночь промучился; утром Наталья сходила за машиной, и отвезли Тихона в Итву. Из приемного покоя его сразу же положили на операционный стол. Гнойный перитонит. Еле спасли. Кишки промыли, антибиотиками накачали. Неделю он пролежал в полусне, под капельницей, почти не ел ничего и ходил под себя. Потом стал понемногу выкарабкиваться. Начал вставать.

Как-то день выдался теплый; Тихон, в больничном халате, шаркая по-стариковски, слабый еще, впервые спустился вниз, во внутренний двор. И глазам своим не поверил. У дальнего забора, прямо на территории больницы, стояла каменная церковь. Без крестов – старая, обшарпанная. Двое рабочих заносили через парадные двери ржавые панцирные кровати, деревянные шкафы и прочую рухлядь. Внутри виднелись остатки фресок в алтаре, серая, местами облупленная до кирпича, колонна бокового нефа. Тихон приблизился. В железную бочку, поставленную почти посередине, гулко капала скопившаяся где-то над хорами грязная дождевая вода. Он увидел лик апостола над аркой. И обомлел.

Три с половиной года ушло у него на оформление всех необходимых ходатайств и разрешений. Сам обивал пороги инстанций, сам просил и унижался. Восемь месяцев просидел в архиве, выуживая документы на первоначальную принадлежность здания. Еще год ушел на поиск спонсоров с меценатами. Искал неравнодушных людей не только по всему краю, но и по всей России. Не ленился ходить в офисы корпораций, встречаться с чиновниками, убеждать. И тут обнаружилось странное. Оказалось, что с атеистами находить общий язык гораздо проще и быстрее, чем со своими же православными. Тех, безбожников, не занимали религиозные вопросы, и действовали они, руководствуясь своим рассудком и римским правом, гласившим, что собственность, по закону принадлежавшая кому-то и несправедливо отобранная в историческом лихолетье, должна быть возвращена законному владельцу. А кто владелец – церковь, отдел культуры или местный кружок баянистов-любителей – вопрос другой. Бюрократы долго запрягали, однако дело свое делали, неумолимо приближаясь к развязке. Свои же, христиане, поначалу отзывались с энтузиазмом, но чем дальше, тем сильнее блекло их живое участие. И все чаще повисала в воздухе присутственных мест фраза «как смажешь, так и поедешь», не произнесенная вслух, но оттого не менее действенная.

Пять дней в неделю отец Тихон жил на съемной квартире в Итве. На выходных и в праздники служил в своем приходе. Отощал, осунулся. Приходилось быть всем подряд – и прорабом, и снабженцем, и бухгалтером, и надсмотрщиком. Миллионами ворочал, а жил, как раб. Домой возвращался, только чтобы поспать. Чего только с Божьей помощью ни переделали. Проверили фундамент и несущие стены. Заменяли кровлю. Снаружи оббили до кирпича и заново отштукатурили под чистовую отделку. Внутри провели воду, свет и отопление. Поменяли растрескавшиеся плиты на полу. Где можно, обновили старые росписи, а где их не было, восстановили согласно эскизам и архивным фотографиям. Из Питера доставили купленный меценатами новый иконостас, киоты, напольные подсвечники, распятия и церковную утварь.

Освящение приурочили к очередной годовщине Крещения Руси. Приехал патриарх со епископы. В епархиальном управлении дали пышный банкет. Поднимали тосты застольные, радовались и веселились. А как только высокие гости отбыли во свояси, представили Тихону молодого поповича, отца Виталия, новоназначенного настоятеля освященного ныне Свято-Воскресенского храма. Отец Тихон при всех подтянул праздничный рукав и сунул епископу под нос сотворенный из закрубевшей

на стройке руки кукиш. Знал он, чем дело закончится. Потому с самого начала все имущество и финансы, пущенные на восстановление, принадлежали не епархии, а созданной при храме церковной общине и главе ее, отцу Тихону. Но даже если бы епископ паче чаяния решил общину приструнить, а документы оспорить, то земля под храмом была выкуплена лично отцом Тихоном и матушкой Натальей и сдана общине в аренду за 1 (прописью «один») рубль в год, но с правом пересмотра арендной платы ежегодно. И попробуй владыка отобрать храм, плата эта могла взлететь в миллион раз, похоронив любую церковную рентабельность.

Освоившись на новом месте, отец Тихон перевез семью в город. Со временем купили дом: скромный, без лепнины и прочих излишеств. Когда прежний епископ, владыка Гермоген, преставился от гриппа и старости, Тихон был избран епископом. Половину административного штата тотчас упразднил. Проведал каждого пастыря дома, посмотрел, кто как живет. В гостях у Никодима, настоятеля кафедрального собора Святого Луки, случился казус. Дом был большой, добротный, трехэтажный. С собственной часовней, библиотекой, сауной, бассейном, множеством спален и зимним садом. Тихону хоромы понравились. На прощание сказал:

– Хорошо тут у тебя. Душевно. Главное – детям простор.

Никодим расцвел и поправил епископа:

– Выросли дети, владыко. Одни живем.

Тихон посмотрел на хозяина с ласковым недоумением:

– Ну, как же? Гляди, сколько их у тебя. Вон там – старшая группа. А здесь младшие бегают.

Никодим побледнел. На ватных ногах, вместе с матушкой, пошел провожать епископа до искусных кованых ворот.

– Ты не тяни, Никоша. Им до зимы обустроиться надо. А тебе другое жилье подберем. Поближе к храму. Да и к Господу.

На следующий год собрал епископ настоятелей и велел вымостить всю площадь вокруг вверенных им приходских храмов тротуарной плиткой. Асфальт дешевле, но недолговечен. Бетон удерживает воду и трескается на морозе. Так что плитка – в самый раз. Тихон сам указал поставщика, у которого лично выбил неслыханную скидку на благое дело. Планировать сказал так, чтобы было удобно заезжать и парковаться машинам. Денег на это не дал. Велел самим справляться. Когда поползло среди отцов негодование и ропот, пояснил с теплотою в голосе:

– Всем нам, отцы, нужно учиться. Денно и ночью. Вон резчик, прежде чем гроздь виноградную высечет на царских воротах, у природы учится. А нам надо у людей. Что толку окормлять старух и праведников, у которых ни сил, ни средств, ни желания грешить. Чего стоит их исповедь? Разве не помните, что сказал Христос – не здоровым нужен врач, но больным. Чем больше денег, тем больше страстей и соблазнов. Посмотрите вокруг. Прислушайтесь. Почитайте. Подумайте. Ведь гипермаркеты, торговые центры потому и строят на объездных дорогах, чтобы бабки за хлебом да спичками не бегали. Но приезжали бы серьезные хозяева на машинах и закупались с избытком. Гипермаркетам главное – не количество покупателей, а качество. Чем больше средний чек, тем лучше. Вот будет ехать такой прихожанин в воскресенье и проедет мимо церкви в кабак. Потому что у кабака парковка есть, а у храма нет. И вместо молитвы напьется и нагрешит. А напоследок еще и разобьется, пьяный, на смерть. Хорошо вам? Ну, отпоете. Получите свои упокойные. И что? Какой от этого прок душе? Пускай лучше приезжает к вам, с женой, с детишками. Спокойно оставив машину на церковном дворе. И отстоит воскресную. А потом домой – на праздничный семейный обед. А вы благодарите за пожертвования, и если видите, что парковка полна, напоминайте в воскресной проповеди о десятине. И тогда шерсти с тучных овец хватит на то, чтобы заботиться обо всех – и о больных, и об убогих, и о стариках, и о праведниках. Да и самим разве не надоело по грязи чавкать?

Ночью видел он два сна – один за другим, один страшнее второго.

Снился ему поначалу Алексей, епархиальный секретарь, как обычно, протягивающий бумаги. Сметы, запросы, письма, распоряжения. Берет их Тихон в руки и видит, что все напечатано вверх тормашками. Пытается перевернуть страницу, но с нею вместе переворачиваются и буквы. Он к Алексею, а вместо секретаря влетает в комнату стая чертей. Хватают и выносят его, вопящего, вон. Избивают долго, больно, до полусмерти. А потом, у колокольни, распинают на Андреевском кресте, головой вниз. И вот тогда снова появляется Алексей, чтобы смочить оброненное Жар-птицей перо в епископской крови и подписать те самые бумаги, которые теперь разбирает он без труда, единственным своим не заплывшим глазом.

Во втором сне видел он евангелиста Луку в золотых одеждах, сидящего за столом в горнице небесной. И поскольку стоял у него за спиной, то мог наблюдать, как выводятся буквы. «Человек некий имел два сына», – прочитал он знакомую строку, но, присмотревшись, увидел, что вместо слова «человек» под рукой Луки рождается сокращение – три буквы: «ч», «е», «к» и вместо «-лове-» над всеми над ними общее титло. И титло это – сам он, Тихон, запечатленный в профиль в один из тех моментов юности, когда лежал с книгой в руках на семинарской кровати. Нижняя вертикаль – ноги его, свешенные на пол. Длинная горизонтальная черта – тело его в подряснике. Верхняя вертикаль – руки с книгой. А евангелист пишет и вздыхает горестно. И Тихон плачет вместе с ним от неизбывной душевной муки, понимая, что это из-за него «человек» стал «чеком».

За первые двенадцать лет его епископства настоятели вместе с жертвователями и меценатами открыли при епархии детский приют, компьютерный центр для обучения программированию, ремесленное училище (на паях с местной властью) и хоспис на двадцать мест с постоянным присутствием медперсонала. Ни копейки не взял из государственной казны. Позже – строительную артель и монастырский молокозавод. Все свое, все натуральное. Сделанное на совесть.

И снова вспоминалась ему лагинская «Луковка»: *Как Христос перехитрил ад, спустившись в него и взорвав изнутри, так и нам надлежит обманывать внутреннего врага в себе. И, порою жертвуя пешку, спасти короля. Ибо не в том мудрость, чтобы не допустить предлога. Но в том, чтобы, видя метания своей души и ума, обуздать их вовремя, не дав соскользнуть в греховную бездну. Здесь должно нам падать и вставать. И снова падать. А туда упав, не спасемся вовек, разве что единою милостью Божьей.*

По воскресеньям, как и полагается, он служил литургию в кафедральном соборе. Однажды настоятелю донесли, что одна из фресок подпорчена вандалами. Кто-то поцарапал стену острым предметом, быть может, отверткой, лезвием ножа или дверным ключом. Никодим прислал художника исправить порчу. Но некоторое время спустя царапины проявились вновь, на том же месте. Настоятель велел братии почаще приглядываться к посетителям и стал раздумывать, не установить ли в тайне от всех направленную на злополучную стену скрытую видеокамеру. Никому и в голову не могло прийти, что глаза этой фигуре выцарапывал сам епископ, которому иногда казалось, что один из торговцев, гонимых Христом, подмигивает ему, обходящему храм с кадилом. И он боялся, что сходит с ума.
